



В. Г. ЛИДИН

Петербург и Москва

(Литературные заметки)

Пять лет земных бурь, пять лет пророчеств, распадов, кризисов творчества, сознания, формы... Безмерный материал, трагически неисчерпаемый источник, ждущий творческого воплощения. И для русской литературы задача эта встает с особою силой в дни великих поминок, в дни Достоевского. Всем своим паразитическим пророчеством, всеми вехами нашей собственной русской и личной судьбы — Достоевский в наши дни — великий завет.

Белые ночи Петербурга вспоили всю мистическую и разительную убедительность его творчества. Только в этом городе, где ядовитый туман, белесые ночи, похожие на осенние дни и бредовая фантастика, — могли возникнуть такие странные, больные и гениальные галлюцинации и гремящие на десятилетия пророчества. Этот же город проводил недавно к последнему убежищу своего сладчайшего певца, олицетворившего собою два десятилетия русской жизни — от первой ее революции, через реакцию и войну — к великой третьей, — Александра Блока.

Но был ли Петербург действительно живым, творческим городом, или это только поистине город раскачки — от галлюцинаций и бреда Мышкина на Петербургской стороне до превосходного эстетизма «Мира искусства»? И неспроста ли именно его избрал Достоевский, как зловеющий фон для трагического надрыва и бреда своих героев, и не спроста ли писал Александр Блок:

Вдруг вижу, — из ночи туманной,
Шатаясь, подходит ко мне
Стареющий юноша (странно,
Не снился ли мне он во сне).
Выходит из ночи туманной
И прямо подходит ко мне,

И шепчет: «Устал я шататься,
Промозглым туманом дышать,
В чужих зеркалах отражаться
И женщин чужих целовать!..

Но стоит ли опять поднимать этот старый спор славян между собою? Да и кому нужен этот спор? А может быть, все же для историка русского творчества и будет примечательна странная судьба этих двух городов:

Петербург — эстет, Петербург — европеец, Петербург — прерзитель. И эта «матушка-Москва», которая все еще устраивает диспуты, копошится, надрывно размышляет, в то время как Петербург уверенно спокоен и во всем давно разобрался.

На самом деле, где была за последние три года литература? В Петербурге. Петербург выпускал десятки книг, а Москва копошилась в своих норах и поражалась, и ахала, как это Петербург все успевает. Москва ничего не успела за три года, а Петербург выпускал книги в нарядных обложках. И изредка петербургские заезжие именитые гости приезжали посмотреть на берложью московскую жизнь.

В Петербурге все имениты. В Петербурге кастальский источник поэзии. Над Петербургом тень Пушкина. В Петербурге изыскания по теории творчества и поэтического языка. В Петербурге блестящий классический акмеизм. А в Москве — провинциальное логово поэтов, какие-то «стойла Пегасов», тень умолкнувшей литературы. В Москве даже нет «литературной хроники». Петербургские литературные издания выходят без московской хроники или печатают два-три абзаца вестей из Москвы рядом с вестями из Нижнего Новгорода и Костромы.

Значит, втуне оказалось пророчество, что быть Петербургу пусто. Медный всадник напрасно прозвенел копытами своего коня. «Пусту» оказалось быть Москве, — для вечного неуспокоения славянофилов. Петербург живет, Петербург издает, в Петербурге струя подлинной литературы.

Но ведь именно в этом-то извечный грех Петербурга, именно в этом его трагическая изначальная пустота. Он всегда воображал себя живым и никогда живым не был творчески. На нем всегда цилиндр, но Достоевский видел под этим цилиндром страшное лицо двойника, а Александр Блок провожал в туман и петербургскую темь русского денди, которого «ничего не интересуется, кроме стихов».

Что накопилось за эти годы сосредоточенного душевного роста, страшного углубления и космических прозрений в подлин-

ной русской литературе — мы не знаем. Блок умолк после «Двенадцати», а Андрей Белый, гениально разорвав творческую форму, еще не начал ее собирать. И ведь при полной веротерпимости нельзя же принять, как творческую осознанность, то скифское народничество, которое так много обещало предугадать и ничего не предугадало, и во всем ошиблось. Петербург говорил три года. Петербург издавал книги. И что же — кроме Блока и Белого? Полочка изящно изданных книг. Малый ренессанс российского эстетизма. Десяток книг эротических.

И эстетизм этот не случаен, не по обстоятельствам независящим. Нет, в нем именно душа Петербурга, ибо сквозь всю российскую хлябь — он прежде всего европеец и эстет, он поощряет эотику, ибо, кроме стихов, денди принимает и ее. Петербург слишком изыскан, чтобы издавать книги плохо, и он издает их превосходно.

Я просматриваю эти книги, со всей своей провинциальной жадностью я хочу узреть в них подлинный свет духовности, — пусть одни стихи, десятки книжек стихов, но ведь вся золотая пора литературы русской именно в этой кипрской пене поэзии, именно в чистом звоне божественной кастальской струи, которой испила пушкинская плеяда. Я читаю эти книги стихов, — и я поражаюсь изощренности техники, чистоте языка, мастерству версификаторства, легкости обращения с новыми формами, подлинному блеску литературности, — но ведь литературность была и в эстетическом «Аполлоне». И разве не были прелестно-игривы и мастерски сделаны все стилизаторские подделки под XVIII век, которые так четко академическим шрифтом, с превосходною графикой наших мастеров, радовали глаз наш целое десятилетие между двумя революциями.

Символизм полновесно прозвучал в Москве и мелким звоном малых монеток прозвенел в Петербурге. Сейчас Петербург уверяет нас, что он полновесно звучит, а мы даже не вторим ему в нашем оскудении. Мы разводим провинциальный имажинизм, которому он по-европейски ужасается как азиатскому атавизму.

Но великая тень Достоевского снова блуждает где-то на Петербургской стороне, и она опишет еще последнюю встречу с этим великим Эстетом, который и мертвецом будет блистать цилиндром в белесую ночь, чтобы все еще казаться живым.

Но не лежит ли источник ее в том, что нам нужна еще какая-то «духовность», которой не заменит нам ни европейская культура, ни блеск достигнутого мастерства.

Я люблю этот город с графической четкостью перспектив его улиц, с ощущением его тревожной близости к морю, с его подлинной верностью культуре. Но не губерньски-уездное чувство родины заставляет меня более любить и тянуться к Москве с ее Пятисобачьими переулками, с ее логовым житием и с ее подлинной молчаливой духовностью.

1921

